

DOI 10.15826/izv2.2016.18.4.062

УДК 821.161.1:325.2 + 82:1 +

+ 821.161.1-312.6 Варшавский

**М. А. Васильева***Дом русского зарубежья им. А. Солженицына  
Москва, Россия*

### **КАТЕГОРИЯ МЕСТА В ЭМИГРАНТСКОМ СОЗНАНИИ: ПРИМЕР ВЛАДИМИРА ВАРШАВСКОГО**

Автор рассматривает эволюцию концепта «своего места» в русской литературе через призму произведений Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и молодых писателей первой волны русской эмиграции. В исследовании указывается значение романов «Бесы» и «Преступление и наказание», предложивших глубинные параллели между самовольной редукцией жизни (самоубийством) и редукцией «своего места» в мире (символический отъезд в «чужие края») и предвосхитивших целый ряд тем в литературе русского зарубежья. Указывается особая роль цикла работ Д. И. Чижевского, посвященных критике этического формализма, проблеме двойника и творчеству Достоевского и давших всесторонний анализ концепта «своего места» в этико-религиозной системе русского классика. Указывается особая роль мотива «своего места» в идейной и художественной системе В. Варшавского и его существенный вклад в обновление этого дискурса. Исследуются отдельные события и явления в истории русского рассеяния («исход», русский Монпарнас, Парижская нота, Вторая мировая война и т. д.) как важнейшие этапы эмигрантского искания своего места в мире.

Цель работы — показать особую роль категории места в эмигрантском сознании и в творчестве писателей русского зарубежья, отметить особый вклад литературоведения русской эмиграции в изучение этико-онтологического «вопроса о «своих местах»». Используя сопоставительный и герменевтический методы, автор отслеживает глубинную связь эмигрантского концепта «своего места» с традицией русской классической литературы. В результате проведенного анализа автор приходит к выводу о существенной трансформации концепта «своего места» в литературе русской эмиграции на фоне тотального исхода, утери родины, точки опоры и своего места в окружающем мире.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** литература русского зарубежья; концепт «своего места» в русской литературе; исследование Д. Чижевского; этический формализм; проблема двойника; молодое поколение русской эмиграции; Парижская нота; Русский Монпарнас; автобиографическая проза В. Варшавского.

Молодым представителям первой волны русской эмиграции присвоен своеобразный «поколенческий код». Люди «без корней», или «голый человек, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалипсически одинокий» [Поплавский, т. 2, с. 296]; «незамеченное поколение», молодые эмигранты, которым «веял в лицо ветерок несуществования» [Варшавский, 1950, с. 27]; «восточные Гамлеты» с «культом недотеп, мстительного презрения к удаче» [Яновский, с. 22]. Этот список определений со знаком «минус» обширен, и,

что характерно, его авторство принадлежит не оппонентам из стана критически настроенных «отцов», но самим «детям русской эмиграции». В сущности, мы имеем дело с автопортретом на фоне эпохи.

Еще одно определение — поколение «без своего места в мире» — было предложено Владимиром Варшавским отчасти как аналог его же устойчивого термина «незамеченное поколение». Эта статья и будет посвящена проблематике «своего места» в художественной и философской системе писателя<sup>1</sup>. Образ поколения «без своего места» в мире возникает у него задолго до поднятой проблематики «незамеченности» и становится сквозным в творчестве. В первом же программном эссе, описывая новое поколение эмигрантских детей, «которым негде жить» [Варшавский, 1930/31, с. 220], Варшавский задает мировоззренческий вектор, где сплетаются время, место и сущность эмигрантского бытия:

...такой эмигрантский молодой человек внезапно, со страхом должен почувствовать, что он не помнит, не знает, где он находится, что у него не было настоящей жизни, что жизнь прошла мимо него, что он оторван от тела своего народа и не находится ни в каком мире и ни в каком месте (текстовые выделения разрядкой принадлежат автору статьи, курсивом — В. С. Варшавскому и оговариваются отдельно. — М. В.) [Там же, с. 221].

И дальше проблематику потери «своего места» Варшавский будет поднимать в художественной прозе, статьях и литературной критике с феноменальным постоянством. Так, в послевоенной статье памяти друга Бориса Вильде он снова опишет русского человека новой формации, который, вслед за «мечтателями» Ф. М. Достоевского, «измученный сознанием своей отверженности, с ужасом чувствуя, что ему нету места в окружающем его чуждом и враждебном мире, — замыкается в своем недуге, в своих неизъяснимо-сладостных безумных мечтаниях о жизни и любви» [Варшавский, 1947, с. 10]. Позже, в военной повести «Семь лет», а потом в «Незамеченном поколении» Варшавский поднимет ту же тему:

...одиночество эмигрантских сыновей было еще больше одиночества отцов. У тех <...> еще оставалась опора: воспоминание, эмигрантская общественность, место в экстерриториальной Зарубежной России, а у сыновей не было места нигде, ни в каком обществе [Варшавский, 2010, с. 149].

И, наконец, в главном, итоговом автобиографическом романе «Ожидание», вышедшем в 1972 г., писатель повторит положения своего раннего эссе 1931 г., посвященного эмигрантскому молодому человеку:

А у нас не было никакого положения нигде, ни в каком обществе. Мы были чужими даже среди эмигрантов. Нас не связывали с ними заветные воспоминания о славе и счастье прежней жизни в России, нас увезли на чужбину детьми. Но все-таки мы были уже слишком взрослыми, чтобы чувствовать себя тут дома, как последующие

---

<sup>1</sup> Эта тема под несколько другим углом рассмотрена в работе: [Хазан].

поколения эмигрантских сыновей. Нам суждены были беспочвенность, отверженность, одиночество. Мы жили без обычных координат для определения своего места в мире, без всякой ответственности [Варшавский, 1972, с. 56].

Из приведенных цитат очевидно, что описанная В. Варшавским драма неукорененности была порождена беспрецедентным эмигрантским опытом. Этот исключительный социальный и личный опыт и, как следствие, особый менталитет детей русской эмиграции обернулись мощным обновлением содержания и формы в творчестве писателей. Благодаря младоэмигрантам в русскую литературу вошел новый архетип эмигрантского человека «без обычных координат» (герои Б. Поплавского, Г. Газданова, В. Набокова, В. Яновского, Б. Божнева, С. Шаршуна и др.). Между тем новейший герой обладал богатой генеалогией (в этом ряду: «герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, упоминаемые В. Варшавским «мечтатели» Ф. М. Достоевского, «лишние люди» И. С. Тургенева и т. д.). Не менее богата предыстория поднятой В. Варшавским проблематики утраты «своего места» в мире. Эта глубинная связь чисто эмигрантской идеи «незамеченного поколения» с русской классикой представляет большой интерес для исследователя и помогает полнее понять эволюцию концепта «своего места» в русской литретауре. Здесь ограничимся лишь несколькими примерами.

\* \* \*

«Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит», — пишет Гоголь в знаменитом эссе «Женщина в свете» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» [Гоголь, с. 225]. В русском зарубежье на проблематику «своего места» в творчестве писателя обратил особое внимание выдающийся философ и филолог Дмитрий Чижевский, определив ее как «центральную в мировоззрении Гоголя» [Чижевский, 1938, с. 187]. Наблюдение это крайне ценно особенно в контексте поднятой нами темы, и потому на разработках Д. Чижевского хотелось бы остановиться отдельно. Через призму проблемы «своего места» по-особому высвечиваются коллизии большинства гоголевских произведений («Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души» и т. д.). Желание выдать себя за другого или присвоить чужое положение в обществе, потеря своего предназначения в мире, творческого дара, внешнего облика, постепенное разрушение душевных и нравственных основ жизни, разрушение гармоничной целостности личности и многие другие темы в творчестве Н. В. Гоголя, безусловно, могут быть поняты как разные формы этико-онтологической катастрофы утраты человеком «своего места» в мире. Чижевский возводил этот гоголевский дискурс к традициям святоотеческой литературы с ее пафосом «духовного делания», подвига, «духовной борьбы» [Там же, с. 189], «душевного хозяйства» [Чижевский, 1951, с. 146] и сделал

предметом идейно-стилистического анализа в статьях «О “Шинели” Гоголя» [Чижевский, 1938] и «Неизвестный Гоголь» [Чижевский, 1951].

Еще в большей степени концепт «своего места» Д. Чижевский исследовал в творчестве Ф. М. Достоевского. В одной из программных работ, посвященных проблеме двойника, он заметит: «... главной проблемой для Достоевского является проблема “своего места”. Эта проблема, по сути, является одной из самых центральных для русской духовной жизни девятнадцатого века» [Чижевский, 2015, с. 444]<sup>2</sup>. В то же время идеи философа не ограничивались только русской духовной жизнью XIX в. и выходили далеко за пределы анализа творчества Достоевского. Автор проводил многочисленные параллели между русской и европейской мыслью нового времени (А. Герцен, Д. Писарев, Вл. Соловьев, Н. Фёдоров, И. Кант, А. Смит, Ф. Ницше, М. Штирнер, С. Кьеркегор и др.). Сама работа о двойнике стала частью фундаментального замысла — обширного философского труда, реализованного лишь отчасти<sup>3</sup>.

Широчайший контекст, в который исследователь помещал идеи писателя, по-новому поднимал вопрос об особой форме мысли «философской современности» [Чижевский, 2015, с. 428], крайне антагонистичной религиозно-этическим взглядам Ф. М. Достоевского. Отличительной чертой новой философской системы Д. Чижевский назвал этический рационализм (формализм). Основным предметом анализа в статье о двойнике стала агрессия абстрактной мысли, отвлеченной от «своего места», т. е. от всего живого, единичного, конкретного. По Д. Чижевскому, целый ряд героев Ф. М. Достоевского страдает именно такой умозрительностью этического бытия, утрачивает «онтологическую устойчивость своей конкретности» и в итоге теряет «“свое место”, свое “где”» [Там же, с. 449]. Подробно разбирая заложников этой отвлеченной идеи, не укорененной в живой конкретности (Голядкин, Ставрогин, Иван Карамазов и т. д.), Д. Чижевский делает крайне важное умозаключение: каждый из героев в разной степени являет собой «онтологическую пустоту» и подвержен душевному распаду («двойничеству»). Ярче всего эти черты проявлены в образе Николая Ставрогина:

...он оторван ото всего мира, обособлен, изолирован, он абсолютно уединен, не имеет в конкретном никакой точки опоры. <...> У него нет «душевного магнитного меридиана» и для него нет того «магнитного полюса», к которому, по мнению Достоевского, влечется всякая живая душа, — нет Бога! Живое, конкретное бытие человека, всякое его «место» в мире возможно лишь через живую связь человека с божественным бытием [Там же, с. 438].

<sup>2</sup> Статья Д. Чижевского на немецком языке «Zum Doppelgängerproblem bei Dostojewskij. Versuch einer philosophischen Interpretation» [Čuževskýj] стала расширенным вариантом русскоязычной статьи «К проблеме двойника. (Из книги о формализме в этике)», вышедшей в коллективном сборнике «О Достоевском» под редакцией А. Л. Бема [Чижевский, 1929]. В немецком варианте статьи Д. Чижевский развил некоторые положения своей ранней пражской публикации, в том числе и «вопрос о “своих местах”» [Čuževskýj, S. 433]. Здесь цитаты приводятся по переводу немецкого варианта [Чижевский, 2015].

<sup>3</sup> Отдельные главы книги были опубликованы в эмигрантской периодике: [Чижевский, 1928a; 1928b; 1928в; 1931].

Представляется крайне знаменательным, что именно в контексте исторических и социальных сломов, разрушения привычных основ жизни и масштабного изгнания стала возможна такая глубокая разработка в достоевковедении проблематики «своего места» с уяснением неразрывной, глубинной этической связи человека — «с конкретным окружением (родина, народ, сословие, семья)» [Чижевский, 2015, с. 444]. Принципиальный акцент в исследованиях Д. Чижевского на «не только “как”, но и “где” этического действия» [Там же, с. 445] был большим вкладом в эмигрантскую философскую мысль и в философию человека в целом. Не случайно его статья вызвала большой резонанс в русском рассеянии и активно обсуждалась в начале 1930-х гг. [см.: Бицилли, 1930а; 1930б; Гессен; Франк; Зандер; Лосский]. От себя добавим, что исследование Д. Чижевского о двойнике наметило целый ряд парадигм в изучении творчества Ф. М. Достоевского, однако при всей фундаментальности постановки вопроса некоторые темы были намечены философом лишь пунктирно. Сегодня они представляют большой интерес как посыл для дальнейшей разработки, в том числе и в свете заявленной нами темы. Одна из них — глубокая идейная связь в текстах Ф. М. Достоевского между символикой утери «своего места» и самовольным уходом из жизни<sup>4</sup>.

\* \* \*

Апогей потери своего этико-онтологического места в мире — судьбы Свидригайлова и Ставрогина, оба героя кончают самоубийством. Крайне символично описана эта редукция человеческого бытия у Достоевского. В обоих случаях намерение уйти из жизни прочно ассоциируется у героев с отъездом, по сути же напоминает эмиграцию (т. е. акт насильственного разрушения устойчивого миропорядка). В случае Ставрогина — это гипотетический отъезд в Швейцарию, в случае Свидригайлова — в Америку. «М е с т о о ч е н ь с к у ч н о, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в д р у г о м м е с т е», «мы поедem и будем там жить вечно» [Достоевский, т. 10, с. 513], — пишет Ставрогин Дарье Павловне, задумав свой inferнальный «отъезд». Акт самоубийства в «Бесах» становится всеобъемлющей метафорой, где иная страна и иное гражданство — ярко выраженные символы небытия: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: “Никого не винить, я сам”» [Там же, с. 516].

Та же символика самоубийства предстает в «Преступлении и наказании». Поговаривая о том, что намерен уехать в «Новый свет, в Америку», Свидригайлов не раскрывает замысел «путешествия». Его уход из жизни с комментарием нечаянного свидетеля в «солдатском пальто и в медной ахиллесовской каске» [Достоевский, т. 6, с. 394] максимально высвечивает проблему добровольной

---

<sup>4</sup> Эта тема исследована в целом ряде работ [см., например: Кибальник; Овчинников; Ренанский; Сараскина; Ситникова; и др.].

смерти как «исхода». При этом в сцене публичного самоубийства, представленной в виде парадоксального диалога между Свидригайловым и «Ахиллесом», многократные повторы слов «чужие край», «Америка» и «место» и их смысловая стяженность, конечно, не случайны:

Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.

— А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов.

— Здесь не места.

— Я, брат, еду в чужие край.

— В чужие край?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.

— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здесь не места!

— Да почему же бы и не место?

— А потому-зе, сто не места.

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к своему правому виску.

— А-зе здесь нельзя, здесь не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.

Свидригайлов спустил курок [Достоевский, т. 6, с. 394–395].

Метафора самовольной смерти, представленная как выпадение из «своего места» и отъезд в «чужие край», была заявлена в отечественной словесности задолго до масштабной русской эмиграции. Значение литературы русского зарубежья здесь не столько в постановке вопроса, сколько в существенном его обновлении. Проблематика потери «своего места» в произведениях молодых эмигрантов далеко не статична, она наполняется новыми смыслами и нередко подвергается кардинальному пересмотру. Владимир Варшавский — один из авторов, преобразовавших этот дискурс. Его герой (как правило, *alter ego* самого автора) не просто пассивный свидетель и летописец нового опыта человека, заброшенного в пространство изгнания-небытия. Метафизика «своего места» в его творчестве проходит разные стадии становления и метаморфоз.

Иллюстрацией такой эволюции может служить автобиографический роман «Ожидание». С первых же страниц, с описания раннего детства автор намечает сквозной для всего романа мотив: «...я не мог себе представить смерть мамы, или папы, или брата Юры. Этого так же не могло быть, как не могла вдруг исчезнуть занимавшая *все место* (курсив В. Варшавского. — М. В.) действительность: небо, дома, земля» [Варшавский, 1972, с. 7]. Здесь — зачин произведения и важнейший ключ к пониманию проблемы. В чистом, «первозданном» сознании ребенка *свое*

*место* существует не только в пространстве, но и во времени — отсюда прямая логическая связь между устойчивостью мира и бессмертием.

Когда героя «Ожидания» настигает «ветерок несуществования»? Знаменательно, что отъезд семьи из Крыма в Константинополь, как и весь эмигрантский «исход» в глазах подростка, — далеко еще не катастрофа, а только переход в неведомое: «Мне было странно: наша жизнь в России занимала *все место* (курсив В. Варшавского. — *М. В.*), а теперь начиналась новая, неизвестная земля» [Варшавский, 1972, с. 37]. Настоящий опыт «остановки жизни» герой познает вместе с уходом близкого человека — смертью брата. Это событие стало одним из самых острых переживаний и героя романа «Ожидание», и самого писателя. Старший брат Юра умер фактически на руках 16-летнего Владимира в марте 1923 г., когда братья, оторванные от семьи, оказались в русской гимназии в Моравской Тршебове. По большому счету, именно с этого года началась настоящая эмиграция Варшавского. «До тех пор я все еще жил, как в вечности. Только теперь я в первый раз почувствовал, что за привычной действительностью проступает что-то чудовищное, невместимое сознанием» [Там же, с. 39]. После трагического ухода брата главные слагаемые — выпадение из пространства (изгнание) и времени (смерть) — складываются в идеальную формулу эмигрантства. Все дальнейшее взросление героя и дальнейшие коллизии романа, как и события в жизни самого Варшавского, — это множественные попытки преодолеть прижизненное небытие.

\* \* \*

Одной из форм такого преодоления для Варшавского, как и для многих младоэмигрантов, стал русский Монпарнас (ил. 1). Роль данного хронотопа в жизни молодой русской эмиграции показана в книге «Незамеченное поколение». Парижский бульвар с его открытыми всю ночь кафе и неизменной литературно-художественной богемой, с одной стороны, был настоящим социальным дном, по словам самого же Варшавского, здесь собирался «всякий сброд»:

К двум часам ночи у стоек монпарнасских баров, казалось, воскресал знаменитый Двор Чудес. <...> Показательно, что в «Последних Новостях» Милоюкова, лучшей в то время русской газете, сообщение о смерти Бориса Поплавского было напечатано под заголовком «Драма на монпарнасском дне». И Монпарнас был действительно одним из кругов парижского дна [Варшавский, 2010, с. 151].

С другой стороны, темная сторона монпарнасского опыта, где отщепенство и смерть (гибель поэта и друга Б. Поплавского), вроде бы, прочно переплелись, не отменяет какой-то особой созидательной миссии этого парижского топоса. Не случайно писатель неоднократно возвращался к монпарнасскому феномену в своих исследованиях, воспоминаниях, устных выступлениях, литературной критике и эссе. Что имел в виду Варшавский?

Значение русского Монпарнаса было отмечено многими писателями русского зарубежья, и Варшавский здесь не одинок. Достаточно привести слова

идейного вдохновителя молодых парижан Георгия Адамовича:

...Франция как бы не замечала и даже просто не видела этих чудаков, откуда-то бежавших, чего-то ищущих, чем-то недовольных и к тому же вечно меж собой ссорящихся. Франция их не отталкивала, но о них и не помнила <...>. Какое было ей в сущности дело до кучки молодых и среднего возраста людей, что-то сочиняющих на своем непонятном языке и мало-помалу растворяющихся в бездомно-интернациональной богеме, подлинным отечеством которой стал Монпарнас? [Адамович, 2002, с. 38]

Знаменательно здесь противопоставление равнодушной Франции Монпарнасу-отечеству. Поистине же фундаментальной точкой опоры и «отечеством» для молодой эмигрантской литературы стала провозглашенная Адамовичем Парижская нота, созданная во многом аурой Монпарнаса. Предложенный молодой эмиграцией (т. е. людьми «без координат») термин, в котором переплелись музыка и география (т. е. точные координаты), конечно, символичен. Ни берлинской, ни пражской «ноты» русское зарубежье не предложило (речь идет не о литературных объединениях, которых в русском рассеянии было немало, а о терминологическом феномене). Однако взаимоотношения новой эмигрантской поэтики с «адресом» своего пребывания крайне многосложны и неоднозначны.

Любопытно, что идейный оппонент Парижской ноты Марк Слоним ничего жизнеутверждающего в русском Монпарнасе не видел, хотя и проводил заседания своего «Кочевья» в одном из бульварных кафе («Taverne Dumesnil» — 73, bd. du Montparnasse). Значит, не только фактическая принадлежность к монпарнасским адресам превращала бульвар в «свое место». Антагонистичную позицию по отношению к монпарнасской среде Слоним четко декларировал в письме к Владимиру Варшавскому (24 янв. 1974 г.):

Я «монпарнасцем» не был, и «нота» Адамовича — Иванова мне всегда была чужда и неприятна, они были певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения. Марксисты скажут, что они отражали психологию «побежденного класса». Монпарнас погиб не только во времени, но и в тех, у кого была душа жива и кто не хотел терять связи с Россией. И хотел на — Россию, для — России (а не эмиграции) работать» [М. Л. Слоним — В. С. Варшавскому].



Ил. 1. Владимир Варшавский. Париж, 1929 [ДРЗ, ф. 54]



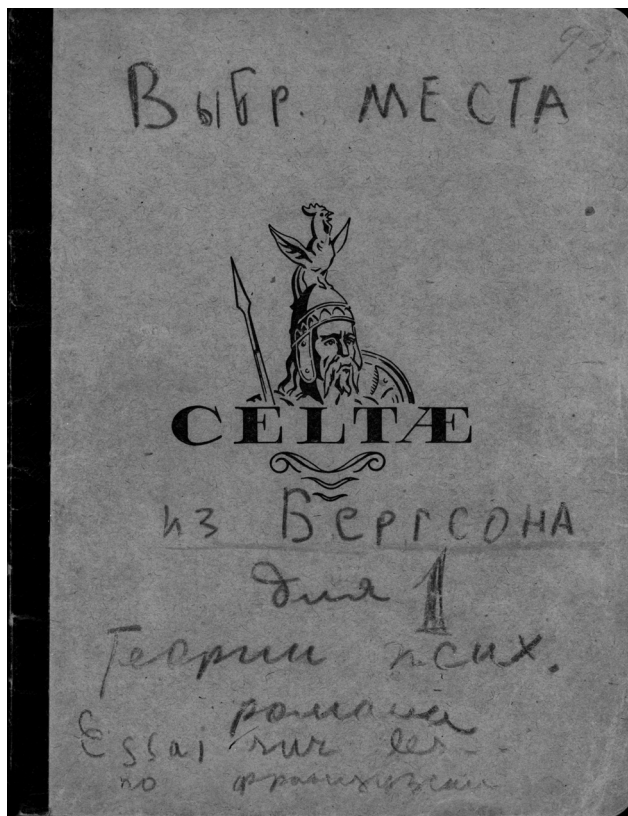
Этот комментарий представляется нам крайне важным — в нем соединены в одно (хотя и со знаком «минус») несколько основополагающих слагаемых русского Монпарнаса как феномена состояния, времени и места. Слоним трактует эти слагаемые как бы в обратной перспективе: Русский Монпарнас не «отечество», но жесткая альтернатива «связи с Россией» (редукция места); не обещание будущего, но яркий пример небытия: «Монпарнас погиб не только во времени» (редукция времени); не новое слово в литературе, а банальное повторение поэтики декаданса: «уныние, безверие, поражение и разложение» (редукция созидания, творчества). По большому счету, для Слонима русский Монпарнас был символом небытия, местом непригодным для тех, у кого «душа жива». Эта трактовка идеологии, монпарнасцев, Парижской ноты и шире — мировоззрения молодого поколения русских парижан — была поддержана многими представителями старшего поколения, а в современной исследовательской рецепции вылилась в формулу «искусство отсутствовать» (см. об этом: [Каспэ], а также полемические статьи автора этих строк: [Васильева, 2008а; 2008б]).

Остается задаться вопросом — что имели в виду сами молодые парижане, когда утверждали, что под влиянием Парижской ноты «родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и не важного, вечного и временного» [Яновский, с. 102] или когда вспоминали «общую атмосферу, т. е. известный духовный климат, какой-то сговор о том “главном”, к которому хотели прийти, о том враждебном, от чего отталкивались...» [Терапиано]. На чем зиждилось «важное», «вечное», «главное» (очевидно, определения далекие от поэтизации «разложения», «отсутствия» или «пустоты»)? Что отстаивали младоэмигранты, так настойчиво доказывая созидательный пафос Монпарнаса и так жестко выстраивая бинарные оппозиции по отношению ко всему «временному» и «враждебному»? И если все эти завоевания были со знаком «плюс», то что означает категория отрицания, так устойчиво прописавшаяся в автопортрете молодого поколения?

По-своему этот ребус разрешается у В. Варшавского через сквозную в его творчестве проблему «своего места» (ил. 2). В «Незамеченном поколении» он дает описание русского Монпарнаса, которое, при всей документальности, фактографичности, несет в себе глубокую философскую составляющую:

Но для нас в «Селекте» за обычными декорациями парижского кафе и за лицами грешников магически проступала глубина другой реальности. Наши составленные вместе столики, казалось, были отделены невидимой линией Брунгильды от всех других столиков, от Парижа, от всего враждебного внешнего мира, где для нас не было места: обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние. Капище орфических посвящений, Ультима Туле, особое призрачное царство [Варшавский, 2010, с. 151–152].

Этот пассаж во многом повторяет приведенное выше описание Г. Адамовича и в то же время несет характерные только для В. Варшавского родовые черты. В рисуемой здесь монпарнасской панораме явственно присутствует ментальная



Ил. 2. Обложка тетради В. Варшавского с выписками из книги А. Бергсона «Опыт о непосредственных данных сознания» (“Essai sur les données immédiates de la conscience”, 1889). Надпись рукой В. Варшавского: «Выбр<анные> места из Бергсона. Для теории псих. романа». Б. д. [ДРЗ, ф. 54]

граница («линия Брунгильды»), отделяющая враждебный внешний мир, где русскому эмигранту «нет места», от призрачного мира русской эмиграции («обломок другой планеты»); за этой чертой, или крайним пределом («Ульtima Туле») рождается «другая реальность». Предложенное В. Варшавским описание важно для понимания двоемирия феномена русского Монпарнаса. Отверженность, пустота, отсутствие «своего места» — априорная эмпирическая данность, по крайней мере, для молодого эмигранта, который по историческим причинам никакой «настоящей былой России» как точки опоры не застал. Для молодого же эмигрантского писателя *небытие* — это первичный и неизбежный строительный материал. Между тем сознание и творческая воля способны очертить некий водораздел и не только отделить «враждебный внешний мир» от своего мира, но и построить «другую реальность».

В сущности, в этом пассаже речь идет о тайне художественного метода молодой эмигрантской литературы. Наблюдение В. Варшавского помогает по-новому увидеть многие «типичные» эмигрантские произведения, созданные, по определению Марка Слонима, «певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения». На поверхности этой литературы — подробное, бесстрастное аналитическое описание небытия, пустоты или отверженности, однако семантическая перспектива нередко меняет траекторию и начинает движение в обратном направлении.

Парижская нота являет массу литературных примеров такого зеркального опрокидывания «враждебной» данности и ее парадоксального преобразования в «другую реальность». У Бориса Божнева это преодоление смерти в самом финале поэтического сборника «Борьба за несуществование» вопреки почти навязчивой аксиоме названия книги. У Бориса Поплавского это возникающая в самом финале знаменитого стихотворения «Рождество расцветает...», вопреки целому каскаду негативных лексем («пусто», «безучастно», «страшно» и т. д.), надежда на прощение и апокатастасис (возвращение, полное восстановление) [см. об этом: Васильева, 2014]. У Георгия Иванова это образы дома, России и «последнего приюта», которыми магически оборачиваются отчаяние, изгнание и смерть в стихотворении «За столько лет такого маяния...» [см. об этом: Васильева, 2015]. Приведенные примеры случайны и точечны, но в то же время показательны (с тем же успехом можно назвать «Ночные дороги» Гайто Газданова или «Приглашение на казнь» далеко не монпарнасского Владимира Набокова).

Для современного исследователя представляет большой интерес отследить на уровне предметного стилистического анализа текста — как, *какими средствами* из материала с негативной коннотацией в этих текстах создается новая жизнеутверждающая метареальность; *каким образом* «пустота», или «ничто», оборачивается воссозданием «своего места», а небытие — восстановлением своего настоящего «я». Очевидно, что в приведенных примерах ощутимо присутствует творческое и нравственное усилие, диаметрально противоположное в своем этико-онтологическом пафосе самоубийству.

Сам В. Варшавский неоднократно указывал на эту парадоксальную особенность новой эмигрантской литературы. В набросках к программному докладу «Русский Монпарнас», который писатель прочел на склоне лет в «Русском кружке» Женевского университета (23 января 1974 г.) [см. об этом: Васильева, 2013], он фиксирует: «С исследованиями еще неизвестных областей сознания связана надежда, что вместе с мутными подземными волнами станет доступно темному зрению “оттуда” хотя бы самое низменное и темное, но приносящее реальное ощущение потусторонней жизни души: то есть все та же великая и безумная надежда человека — найти доказательства бессмертия. Ибо чем дальше сознание роет в глубину себя, тем сильнее проступает...» [Варшавский, Русский Монпарнас], — далее запись обрывается. Вектор философской интуиции В. Варшавского задает отдельное направление в исследовании феномена литературы русского зарубежья. Предметом изучения здесь становится мировоззренческая

и творческая способность целого литературного поколения вопреки эмпирической реальности (потери своего места, распыления, отверженности, несуществования) найти на уровне крайнего предела «Ульгима Туле», онтологической глубины своего «я», новую точку опоры. Проще говоря, речь идет об «искусстве присутствовать».

Художественный метод Владимира Варшавского во многом отвечал принципам Парижской ноты. В русском зарубежье он стал одним из ярких представителей литературы человеческого документа и за ним закрепилось устойчивое определение «честный писатель»<sup>5</sup> — это значило: простота художественной ткани произведения, максимальная непредвзятость в описании событий и людей, выразительный аскетизм. В целом как художник В. Варшавский отвечал лапидарной формуле Адамовича: «Искусство тем чище, чем беднее на вид» [Адамович, 1924]. Однако в случае с Варшавским мы имеем дело с глубоко личным, индивидуальным становлением авторского почерка — не столько писатель следовал требованиям «ноты», сколько сама «нота» совпала с его мировоззрением. Впрочем, именно в «созвучности» (отзывчивости, диалогичности, неавторитарности) нового литературного течения кроется его невероятная популярность в среде молодой эмигрантской литературы. Для Варшавского же многое совпало в «ноте» с его родовой темой искания «своего места».

Фактографическую точность и документальность его произведений вряд ли можно объяснить ученическим буквализмом или неспособностью к вымыслу. Мировоззренческие истоки своего стиля писатель так объяснял в романе «Ожидание»: «Но я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне вернуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая. <...> Непосредственные впечатления не могут быть пошлыми или глупыми. Я для того и пишу, чтобы их *проявить*... (курсив В. Варшавского. — М. В.)» [Варшавский, 1972, с. 243, 246]. Вскоре после выхода романа в свет В. Варшавский запишет в дневнике с названием «Ионафан», отсылающим к библейским сюжетам: «...ведь самое трудное начать: потом начнется радость усовершенствования, или, как у Толстого, “снятия покровов”, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть» (запись 19 мая 1973 г.) [Варшавский, Ионафан]. Здесь во многом находится объяснение роли «писательства» в жизни Варшавского: точное фиксирование реальности было для него одной из форм объективного преодоления небытия. Здесь же — глубинные связи художественного метода Варшавского с феноменом русского Монпарнаса как места, где *воссоздавалась, проявлялась* «другая реальность».

Важнейшим опытом сопротивления небытию для русской эмиграции стала Вторая мировая война. В автобиографической повести «Семь лет», а затем

---

<sup>5</sup> Так, например, Г. П. Федотов по прочтении нескольких военных рассказов В. Варшавского так охарактеризовал в письме к автору его прозу: «Большая правдивость и объективность, даже какая-то прозрачность. Я думаю, что это должно было бы понравиться Толстому за абсолютную честность» (16 янв. 1947 г.) [Г. П. Федотов — В. С. Варшавскому...].

в романе «Ожидание» В. Варшавский описал заседания литературно-философского объединения «Круг» как места, где сошлись старшее и младшее поколение русского Парижа. Атмосфера, царившая на этих встречах накануне войны, была наглядным примером «сговора о том “главном”, к которому хотели прийти, о том враждебном, от чего отталкивались» (здесь снова приводим слова Ю. Терапиано о Парижской ноте как подтверждение глубинной связи этических и эстетических установок нового литературного течения). Выбор завсегдатаев «Круга» — И. Фондаминского, Г. Адамовича, Б. Вильде, матери Марии, В. Алексинского и др. — в пользу Резистанса был еще одной, а в условиях войны — героической формой борьбы за «другую реальность».

Для Владимира Варшавского участие во Второй мировой войне было также принципиальным выбором. В сентябре 1939 г. он записался добровольцем во Французскую армию, в недолгой «странной войне» не только побывал в боях, но и стал примером солдатской доблести, оставшись последним на линии огня при защите Булонской цитадели. После поражения французских войск В. Варшавский провел пять долгих лет в немецком плену, а по окончании войны 8 января 1947 г. был награжден известной французской наградой — Военным крестом с серебряной звездой (*Croix de guerre avec Étoile d'Argent*).

Военные события писатель подробно воспроизвел в автобиографической прозе (цикл военных рассказов, повесть «Семь лет» и роман «Ожидание»). Символично описание боя в осажденной крепости и переживаний главного героя в эти дни. В момент бомбардировки цитадели, лежа под открытым небом, герой испытывает глубоко онтологический страх смерти: «...перед тем, как страх занял все *место* (курсив В. Варшавского. — *М. В.*), я еще успел подумать: “Как хорошо, что в эти минуты опасности я не чувствую сожаления о моей неудачной жизни”» [Варшавский, 1972, с. 91]. Пройдя же эту роковую черту, он осознает: «В первый раз в жизни я делал что-то, признаваемое всеми нужным и важным, в первый раз у меня было место в человеческом обществе, и я не испытывал моего всегдашнего страха, что я живу не так, как все. Наоборот, у меня было теперь спокойное чувство укреплённости моей жизни в чем-то достоверном и прочном» [Там же, с. 113]. Здесь опять возникает сквозной мотив искания «своего места» в творчестве и в жизни В. Варшавского.

В то же время описание душевного переворота героя отсылает нас к исследованию Д. И. Чижевского, казалось бы, всецело посвященному иной тематике (проблема двойника, творчество Достоевского, этический формализм в русской и западной философской традиции). Связующим звеном здесь служит постановка вопроса об «онтологической силе и крепости конкретного бытия» [Чижевский, 2015, с. 449]. Непреднамеренная и в то же время почти дословная переключка текста В. Варшавского с положениями статьи Д. Чижевского — наглядное свидетельство эволюции концепта «своего места» в литературе русского зарубежья. «...Достоевский ставит “*этико-онтологическую*” проблему устойчивости, реальности, прочности индивидуального человеческого существования. Эта проблема действительно является одной из существеннейших проблем

этики! — замечает Д. Чижевский. — Реальность человеческой личности не обуславливается простым ее существованием в эмпирическом плане бытия, но требует еще каких-то иных (вне-эмпирических) предпосылок» [Там же, с. 433].

Герой Варшавского, *alter ego* писателя возвращает себе «укрепленность», «достоверность» и «прочность» вопреки зримой реальности разрушения. Конкретность описываемого *места действия* — массовый обстрел цитадели, гибель друзей во время боя. Однако именно в этот момент начинается обратный отсчет в судьбе героя, его путь к этическому равновесию. В условиях войны (всецелого наступления «враждебного внешнего мира») извечное эмигрантское искание *своего места* обретает поистине эпические черты и становится в прямом смысле слова вызовом смерти.

### Источники

- Варшавский В. С.* Русский Монпранас <доклад> // ДРЗ. Ф. 54.  
*Варшавский В. С.* Ионафан. <Дневник (1972–1976)> // ДРЗ. Ф. 54.  
Г. П. Федотов — В. С. Варшавскому. 16 янв. 1947 // ДРЗ. Ф. 54.  
М. Л. Слоним — В. С. Варшавскому. 24 янв. 1974 // ДРЗ. Ф. 54.

### Исследования

- Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 1 сент. № 83. С. 2.  
*Адамович Г.* Одиночество и свобода / сост., послесл., примеч. О. А. Коростелева. СПб. : Алетей, 2002.  
*Биццли П.* Нова светлина за творчество на Достоевски // Литературен глас. 1930а. 25. I. № 59. С. 4.  
*Биццли П.* [Рец. на сб. ст.: о Достоевском. Прага, 1929. Т. 1] // Числа. 1930б. Кн. 2/3. С. 240–242.  
*Варшавский В.* Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке // Числа. 1930/31. № 4. С. 216–222.  
*Варшавский В.* Борис Вильде // Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. Февр. № 2. С. 9–15.  
*Варшавский В.* Семь лет. Париж : Imprimerie Abécé, 1950.  
*Варшавский В.* Ожидание. Париж : YMCA-Press, 1972.  
*Варшавский В. С.* Незамеченное поколение / сост. О. А. Коростелева и М. А. Васильевой. М. : Рус. путь, 2010.  
*Васильева М. А.* «Незамеченность»: опыт прочтения // Гуманитарные науки в Сибири: Рос. акад. наук. Сиб. отд.-ние. Сер. : Филология. 2008. № 4. С. 28–31.  
*Васильева М. А.* К проблеме «незамеченного поколения» во французской литературе // Русские писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу: 1920–1940 : междунар. науч. конф. / сост., науч. ред. Ж.-Ф. Жаккара, А. Морар, Ж. Тассис. М. : Рус. путь, 2008. (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и исследования ; Вып. 8). С. 43–62.  
*Васильева М. А.* Борис Поплавский как визави Владимира Варшавского // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2013. № 4. С. 265–279.  
*Васильева М. А.* Между небом и землей: об одном рождественском стихотворении Бориса Поплавского // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2014. № 4 (133). С. 154–164.  
*Васильева М. А.* «Взаимно искажая отраженья»: Мотив двойника в лирике Георгия Иванова // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2015. № 2. С. 22–27.

- Гессен С. И.* [Рец. на сб. ст.: о Достоевском. Прага, 1929. Т. 1] // Совр. зап. 1930. № 43. С. 503–505.
- Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. : в 14 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8 : Статьи. 1952. С. 213–418.
- Достоевский Ф. М.* Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 6. Л. : Наука, 1973.
- Достоевский Ф. М.* Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 10. Л. : Наука, 1974.
- Зандер Л.* [Рец. на сб. ст.: о Достоевском. Прага, 1929. Т. 1] // Путь. 1930. № 25. С. 127–131.
- Каспэ И.* Искусство отсутствовать. Незамеченное поколение русской литературы. М. : Новое лит. обозрение, 2005.
- Кибальник С. А.* Рассказ Гайто Газданова «Черные лебеди» как метатекст // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 8 : Литературоведение. Журналистика. 2008. № 7. С. 28–33.
- Лосский Н.* [Рец. на кн.: Dostojevskij-Studen. Veröffentlichungen der Slavistischen Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag. Reichenberg, 1931] // Совр. зап. 1932. № 49. С. 462–464.
- Овчинников И.* Достоевский, Страхов и Герцен: конфликт или согласие [Электронный ресурс]. URL: <http://old.russ.ru/krug/00gerzen-pr.html> (дата обращения: 06.09.2015)
- Поплавский Б.* Домой с небес // Поплавский Б. Собр. соч. : в 3 т. М. : Согласие, 2000. Т. 2. С. 227–430.
- Ренаиский А. Л.* Метафизика антиамериканизма у Ф. М. Достоевского // Материалы глобального партнерства по развитию научного сотрудничества : [сб. ст.] / под общ. ред. В. А. Должилова. М. : Глобальное партнерство по развитию научного сотрудничества, 2015. С. 163–186.
- Сараскина Л. И.* Америка как миф и утопия в творчестве Достоевского // Достоевский и современность : материалы XXII Междунар. Старорусских чтений 2007 года / сост. В. И. Богданова. Великий Новгород : Новг. музей Достоевского, 2008. С. 199–213.
- Ситникова Ю. В.* Концепт «Америка» в произведениях Ф. М. Достоевского // Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных, естественных, технических наук : [сб. ст.]. Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2014. С. 7–11.
- Терапиано Ю.* По поводу незамеченного поколения // Новое рус. слово. 1955. 27 нояб. № 15492. С. 8.
- Франк С.* [Рец. на сб. ст.: о Достоевском. Прага, 1929. Т. 1] // Руль. 1930. № 2709.
- Хазан В.* Без своего места в мире. («Отцы» и «дети» в прозе В. Варшавского) // Мир детства в русском зарубежье: III Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 25–27 марта 2009) : сб. докл. / сост. И. Ю. Белякова. М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2011. С. 179–206
- Чижевский Д.* О формализме в этике // Труды Рус. нар. ун-та в Праге. 1928а. Т. 1. С. 195–209.
- Чижевский Д.* Представитель, знак, понятие, символ: (Из книги о формальной этике) // Философское общество в Праге, 1927–1928. Прага, 1928б. С. 20–24.
- Чижевский Д.* Проблема формальной этики // Философское общество в Праге, 1927–1928. Прага, 1928в. С. 9–11.
- Чижевский Д.* К проблеме двойника. (Из книги о формализме в этике) // О Достоевском / под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. Т. 1. С. 9–38.
- Чижевский Д.* Этика и логика. К вопросу о преодолении этического формализма // Научные труды Рус. нар. ун-та в Праге. 1931. Т. 4. С. 50–68.
- Чижевский Д.* О «Шинели» Гоголя // Совр. зап. 1938. № 67. С. 172–195.
- Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Нов. журн. 1951. № 27. С. 126–158.
- Чижевский Д. И.* К проблеме двойника у Достоевского. Попытка философской интерпретации / пер. с нем. М. Д. Кармановой ; публ. и коммент. А. В. Тоичкиной // Ежегодник дома русского зарубежья им. А. Солженицына, 2014–2015 / отв. ред. Н. Ф. Гриценко. М. : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. С. 424–458.
- Яновский В. С.* Поля Елисейские. Книга памяти. СПб. : Пушкинский фонд, 1993.
- Čyževskýj D.* Zum Doppelgängerproblem bei Dostojevskij. Versuch einer philosophischen Interpretation // Dostojevskij-Studien / Gesammelt und herausgegeben von D. Čyževskýj. Reichenberg, 1931. S. 19–50.

**Васильева Мария Анатольевна**

кандидат филологических наук,  
ученый секретарь  
Дом русского зарубежья  
им. А. Солженицына  
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, 2  
E-mail: marijavid@mail.ru

**Vasilyeva, Maria Anatolyevna**

PhD (Philology), Academic Secretary  
Aleksandr Solzhenitsyn Center  
of Russian Émigré Studies  
2, Nizhnyaya Radishchevskaya Str.,  
109240 Moscow, Russia  
E-mail: marijavid@mail.ru

**THE CATEGORY OF PLACE IN ÉMIGRÉ CONSCIOUSNESS:  
WITH REFERENCE TO VLADIMIR VARSHAVSKY**

The author considers the evolution of the concept of “one’s own place” in Russian literature through the prism of works by N. V. Gogol, F. M. Dostoyevsky, and young writers of «the first wave» of Russian emigration. The article focuses on the meaning of *Demons* and *Crime and Punishment* which suggest deep parallels between the willful reduction of life (suicide) and the reduction of *one’s own place* in the world (symbolical departure to the *outland*) that anticipated a number of themes of the literature of the Russian abroad. The author focuses on the special role of a cycle of works of D. I. Chizhevsky devoted to the criticism of ethical formalism, the issue of doppelgangers and Dostoyevsky’s creative work that gave a comprehensive analysis of the concept of “one’s own place” in the ethical and religious system of the Russian classic. The article emphasises the special role of the motif of “one’s own place” in the ideological and artistic system of V. Varshavsky and his essential contribution to the renovation of this discourse. The article explores separate events and phenomena in the history of the Russian dispersion (“exodus”, Russian Montparnasse, Parisian Note, World War II, etc.) as the most important stages of the émigré search for one’s own place in the world are explored.

The author aims to show the special role of the category of place in émigré consciousness and in the works of writers of the Russian abroad, to note a special contribution of literary criticism of the Russian emigration to the study of the ethical and ontological “issue of places”. Using the comparative and hermeneutical methods, the author traces the deep communication of the émigré concept of “one’s own place” with the tradition of Russian classical literature. Following his analysis, the author concludes that there was an essential transformation of the concept of one’s own place in the literature of Russian emigration accompanying the massive exodus, the loss of homeland, the point of support, and the place in the world.

**Key words:** literature of the Russian abroad; concept “one’s own place” in Russian literature; D. Chizhevsky’s works; ethical formalism; the issue of doppelgangers; younger generation of Russian emigration; Parisian Note; Russian Montparnasse; autobiographical prose of V. Varshavsky.

Adamovich, G. (1924, Sept. 1). Literaturnye zametki [Literary Notes]. *Zveno*, 83, pp. 2. (In Russian)  
Adamovich, G. (2002). *Odinochestvo i svoboda* [Loneliness and Freedom]. Moscow: Aleteiia.

(In Russian)

Bitsilli, P. (1930a). Rets. na sb. st.: O Dostoevskom. Praga, 1929. T. 1 [Review of the Coll. of Articles: About Dostoyevsky. Prague, 1929, vol. 1]. *Chisla*, 2/3, 240–242. (In Russian)